

Nik Agent

Планета, которая ждала

Nik Agent

Планета, которая ждала

«Автор»

2026

Agent N.

Планета, которая ждала / N. Agent — «Автор», 2026

Сигнал из глубины космоса повторяется каждые одиннадцать часов тринадцать минут — сто тридцать семь секунд ровной, терпеливой музыки. Пресса назовёт его «Колыбельной». Астрофизик Алёна Зорина, первая услышавшая его в шуме Вселенной, не доживёт до ответа три года. Её муж, лётчик-испытатель Марк Зорин, сядет в корабль «Чайка» и полетит к оранжевой звезде «Люся» — через четырнадцать лет пустоты, пробуждения и писем от племянницы, которая растёт быстрее, чем летит свет. Там, у неизвестной планеты, дышащей кислородом и поющей штормами, его ждёт то, чего не предсказал ни один институт: Сад, ткачи света и вопрос, на который нет инструкции, — вернуться домой или остаться голосом для тех, кто ещё в пути. Роман о горе, которое научилось летать, и о доме, который держит свет.

© Agent N., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Предисловие автора	6
Пролог. Сто тридцать семь секунд	7
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Земля	9
Глава 1. Кандидат № 9	10
Глава 2. Три зимы	12
Глава 3. Ося	14
Глава 4. Школа тишины	16
Глава 5. Девять фамилий	18
Глава 6. Экзамен	20
Глава 7. Прощание — это ремесло	22
Глава 8. Пуск	24
Глава 9. Дальше тишина	26
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Путь	28
Глава 10. Дом из фольги	29
Глава 11. Четыре такта	31
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Nik Agent

Планета, которая ждала

© nikagent, 2026. Все права защищены.

Произведение художественной литературы. Персонажи и события вымышлены.

Возрастная категория 16+.

Предисловие автора

Эта книга началась с вопроса, который я услышал от незнакомого человека на перроне, лет двадцать назад. Наш поезд стоял долго, сосед по скамейке рассказывал, что работает связистом на северных трассах, — и на прощание сказал: «Знаете, что самое трудное в моей профессии? Не темнота и не мороз. Трудно держать свет, когда ты ещё не уверен, что кто-то едет». Я тогда не понял, о чём он. Эта книга — попытка понять.

«Планета, которая ждала» — роман о человеке, который полетел туда, откуда пели. В его основе — самая простая и самая необъяснимая вещь на свете: кто-то держит свет, не зная, приедет ли кто-нибудь. Я много думал о том, почему эта мысль греет сильнее любых научных открытий, и, кажется, понял: потому что каждый из нас время от времени оказывается на одном из двух краёв этой истории. Иногда ты тот, кто ждёт и не знает, услышат ли. Иногда — тот, кто едет и не знает, есть ли там ещё свет. И вся драма человеческой жизни помещается между этими двумя краями.

Я не физик и не астронавт. Всё, что здесь написано про изгибное движение, межзвёздную почту и биолюминесцентные океаны, — художественное допущение, и прошу читателя читать его так, как читают сказку про море: не проверяя глубину ластами. Зато всё, что здесь написано про людей — про письма, которые пишут в стол; про разговоры, которых не произнесли; про чайку из жести на связке ключей, — я вынес не из фантазии. Такое бывает. Такое, к сожалению или к счастью, бывает сплошь и рядом, и нет нужды лететь сорок шесть световых лет, чтобы встретить дом, который ждал.

Пишите мне, если книга вас тронула. Я отвечаю всем. Умею ждать — это, как вы убедитесь, семейное.

nikagent

Пролог. Сто тридцать семь секунд

У моей жены был слух на тишину. Профессиональный, редкий — как абсолютный слух у музыканта, только настроен он был не на звук, а на его отсутствие. Алёна могла сидеть перед экраном с четырьмястами кривыми шума и сказать, не поворачивая головы: «В третьем окне что-то есть». И там действительно что-то было. Пульсар. Помеха от старого спутника. Один раз — сломанный рефрижератор в соседнем корпусе, который свистел на частоте водородной линии и сводил с ума всю смену. Ей в институте шутили: если в космосе кто-то чихнёт, Зорина первой скажет ему «будь здорова».

В ночь на четырнадцатое марта две тысячи семьдесят пятого года она позвонила мне в два часа сорок минут. Мы были женаты четыре года, и за эти четыре года она звонила мне ночью один раз — когда у неё умер дед. Я помню, как снял трубку, не включая свет, и как во мне всё провалилось от её первого вздоха.

«Я его слышу», — сказала она. Голос у неё был странный: не испуг, не радость. Так говорят люди, которые держат в руках что-то очень хрупкое и очень тяжёлое одновременно.

«Кого?» — спросил я.

«Не кого. Что. Хотя... — она засмеялась коротко, смущённо. — Не знаю, Марк. Не знаю, кого».

Я тогда летал на север, к безымянному полигону, и стоял на втором этаже гостиницы, где за окном лежал спящий город, а внизу лаяла собака, которой всё было нипочём, что во Вселенной случилось событие века. Я спросил правильно — так меня учили: сначала факты, потом эмоции. Полоса. Ширина. Источник. Время.

Она ответила как по учебнику, и от этого было ещё страшнее. Полоса — узкая, на два порядка уже любой природной. Длительность — сто тридцать семь секунд, не на десятую долю больше и не меньше, повтор строго каждые одиннадцать часов тринадцать минут. Структура внутри повторяется не до конца — как будто кто-то поёт одну и ту же песню, но каждый раз вдох берёт в новом месте. Источник — звезда в созвездии Геркулеса, честный оранжевый карлик, сорок шесть световых лет от нас, никакого молодого задора, никаких вспышек. Тихое, взрослое, старое солнце, которое горит себе и горит.

«Пульсар?» — сказал я не как вопрос, а как просьбу. Скажи мне, что это пульсар, и мы ляжем спать.

«У пульсаров период грубый, там десятки, сотые. А тут ровно. И во вторую повторность — подтверждение с обратной стороны Луны, я уже запросила у Рошина. Земная помеха не может прийти с двух сторон неба, голубь».

Она звала меня голубем. Когда-то это было шуткой: я объяснял ей, как выглядит посадка в боковом ветре, махал руками, изображая планирование, а она сказала, что похожа на чайку, которая добивается, чтобы у неё отобрали бутерброд. С тех пор — голубь. В ту ночь мне было не до птиц.

«И что это?» — спросил я.

С той стороны пауза длилась секунд десять. Я слышал, как она дышит, как щёлкнет где-то карандаш и покатится по столу. Потом она сказала: «Не знаю. Но оно повторяется каждые одиннадцать часов тринадцать минут уже, судя по архиву, минимум четыре года. Четыре года, Марк. Кто-то четыре года поёт в пустую комнату и не знает, есть ли в ней кто-нибудь, кроме него».

Внизу всё ещё лаяла собака. Я помню это с абсолютной точностью, хотя прошёл с той ночи, как помнят начало войны или первый снег: не через смысл, а через собаку, лающую внизу.

Через месяц сигнал подтвердили ещё четырнадцать станций, разбросанных по трём континентам и по орбите. Через полгода его, вопреки всем инструкциям по секретности, вынесли в большую прессу, и человечество сделало с ним то, что делает с любым чудом: дало имя. Спорили, кому давать — коллективу Рощина или той безымянной инженеру второй смены, что первая подняла его из шума. Имя в итоге выбрали по-народному, снизу: техники смены, дежурившие с Алёной, писали в графе «характер источника» одно и то же слово, и слово это уехало в отчёт, из отчёта — в сеть.

«Колыбельная».

Потому что оно повторялось. Потому что от него почему-то было спокойно. И потому что, слушая его в наушниках на всю громкость, отчётливо чувствовал: то, что поёт там, на расстоянии сорока шести лет, — поёт для кого-то. Не кричит, не стучит, не требует. Просто поёт и ждёт, доиграет ли до конца. Как мать над ночью, которая рано или поздно кончится.

Мне тогда был тридцать один год, и я думал, что самое сложное в этой истории — выдерживать то, как изменится мир. Мы с Алёной жарили на кухне картошку, пока в новостях обсуждали существование организаторов сигнала, и я шутил, что теперь даже если человечество испугается и погасит все маяки — она-то знает: где-то там поют.

Я не знал, что через шесть лет буду прижимать к лицу её свитер и он ещё будет пахнуть ею — а потом перестанет.

И я не знал, что через девять лет сяду в корабль, который назовут «Чайкой», и полечу туда, откуда пели, — и что самая долгая колыбельная в истории человечества будет петь уже не для всех. Для одного.

Но в ту ночь я просто стоял у окна и слушал, как внизу лает собака, а где-то на краю слышимого мира — ровно, терпеливо, каждые одиннадцать часов тринадцать минут — поёт то, чему мы ещё не придумали имя.

* * *

Эту ночь я рассказываю первой не потому, что она была первой по времени. А потому, что всё остальное — отбор, корабль, четырнадцать лет пустоты, планета, Сад, всё, что вы прочтёте дальше, — началось именно тогда, когда женщина с абсолютным слухом на тишину позвонила мужу в два часа сорок минут ночи и сказала: «Я его слышу».

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Земля

Свет идёт долго. Но он идёт.

— запись в бортовом журнале „Чайки“

Глава 1. Кандидат № 9

Сначала у них было девятьсот тысяч добровольцев. Потом двадцать тысяч, потом две тысячи, потом — девять фамилий на одном листе, распечатанном на плотной бумаге, которую нельзя было мять, потому что её потом показывали в новостях.

Моя фамилия стояла девятой. Последней. И если бы тот лист увидели журналисты — а его не увидели, я проверял, — вселенский юмор был бы очевиден каждому: в списке кандидатов проекта «Ответ» под девятым номером значился человек, которому через полтора года предстояло стать единственным.

Объяснение этому я узнал позже, и оно было простым и некрасивым, как большинство истинных объяснений. Лист сортировали не по шансам, а по возрасту: чем младше, тем выше строка. Изгибное движение — то самое, про которое сто лет говорили «никогда», — имело жестокое свойство: оно не ускоряло человека, оно растягивало дорогу. Сорок шесть световых лет по-прежнему оставались сорока шестью световыми годами; изгиб лишь позволял кораблю с живым человеком внутри прожить эти годы за четырнадцать, вырезая из пространства куски, как ребёнок вырезает ножницами страну на карте. Четырнадцать лет сна, три пробуждения, один человек на борту — потому что живой вес стоит дороже всего на свете, а машины летают дешевле и не жалуются.

Человека решено было послать не вместо зонда, а вместо обещания. Зонды, как выяснилось к тому времени на четырёх неудачных запусках, умирали в пустоте молча и навсегда. А человек, пусть один, пусть в капсуле, был существоупрямым: он чинил, он изобретал, он в мёртвом железе находил решение и называл его своим именем. И — это писал в обосновании не философ, а риск-аналитик — человек, дошедший до цели, сумеет решить, что делать дальше. Зонд не решал. Зонд передавал.

Девятого марта две тысячи восемьдесят четвёртого года я сидел в кабинете, где принимали последнее решение, и через стекло двери видел, как по коридору ходит большой серый человек в свитере. Это был Ким. Ким Соловьёв, кандидат номер три, лучший из нас девяти по всем графикам, которые рисовали на стенах комиссия, — и самый смешной человек из двухсот тысяч, которые прошли через отбор. Мы познакомились на первом же медкомплексе, когда он, глядя на мою трубку с кровью, сказал: «Донорские ощущения? Сейчас предложат бутерброд. Главное — не соглашайся на второй, тут за это отсеивают».

В кабинете сидели трое. Вера Павловна Стрельцова — руководитель полёта, о которой в институте рассказывали легенду, как она за одну ночь пересчитала траекторию первого зонда и тем спасла проект, хотя на самом деле была вторая ночь. Справа — главный инженер изгибного блока, чьё имя я с тех пор забыл, а лицо нет: усталый мужчина, который на всём совещании ни разу не поднял глаз от своих кривых. И слева — психолог, доктор Ольга Раевская, маленькая, в очках, с неизменным термосом, из которого она пила что-то, пахнущее чабрецом.

«Марк Андреевич, — сказала Раевская. — Вопрос простой. Зачем вам это?»

Я готовился. Три недели я готовился к этому вопросу, потому что Ким предупредил: всё остальное — физика, психика, математику — проверяют приборами, а на этот вопрос отвечают глаза. Я привёз с собой заготовку про долг, про науку, про то, что человечество обязано ответить на колыбельную — хотя бы жестом. Красивую, честную заготовку, я её репетировал перед зеркалом, и зеркало, надо сказать, верило.

«Потому что моя жена умерла, так и не узнав, что там, — сказал я. — И потому что я умею ждать и умею чинить. Первому она меня научила. Второму — аэродром».

Термос Раевской завис в воздухе на полпути ко рту. Инженер поднял глаза от кривых — впервые за совещание. Стрельцова сделала пометку. Не в графу «психика». В ту, что не имеет графы.

«Вы понимаете, что возвратной схемы нет?» — спросила она. Не «осознаёте ли вы», не по-протоальному. По-человечески, как спрашивают те, кто сам видел, как это звучит в последний раз.

«Да», — сказал я.

«Корабль называется „Чайка“. Выбирайте, что сеять в голове: птицу или море. — Она закрыла папку. — Всё. Идите. Вам позвонят в течение недели».

В коридоре Ким поймал меня за рукав свитера и утащил в угловой автомат с водой, потому что по неписанному уставу комиссии все важные разговоры там происходили только под треск разливного стакана. Он не спросил, как прошло. Он спросил: «Сказала про билет?»

«Сказала».

«И?»

«Я сказал „да“».

Ким кивнул так, будто я ответил, что завтра хорошая погода. Он был из тех людей, которые встречают чужую страшную правду спокойно, потому что носят свою. Мы знали друг друга два года, и я знал его сестру, его любовь к худшим в мире стихам и его тайный страх — что сердце. Не как образ. Как орган: тахикардия, снятая с учёта в двадцать лет, которая прыгала на каждом стресс-тесте, как злая собака на заборе.

«У меня завтра центрография, — сказал он, глядя в стакан. — Если пройдёт — лететь должен я. Ты же понимаешь».

«Понимаю».

«И я буду не рад, если пройдёт у тебя».

«Знаю».

«И буду рад».

Мы выпили по стакану, и я пошёл к выходу через стеклянный переход, внизу которого лежал двор: там снег лежал на кустах, и кусты казались белыми кострами, которые забыли поджечь. Тогда я ещё не знал, что именно этот двор я буду видеть каждую ночь четыре года — память хранит странные детали, отбирает их без нашего согласия и бережёт дольше, чем имена.

Через одиннадцать дней мне позвонили. Через двенадцать — Киму позвонили тоже, но по другому поводу: сердце не выдержало не полёта, а центраграфии, и его сняли с программы с формулировкой, которую в письменном виде не шлют, а зачитывают лично и садятся рядом. Я был рядом. Ким смотрел на документ, не читая, и смеялся — долго, тихо, до слёз.

«Знаешь, что самое смешное? — сказал он. — Я всю жизнь боялся этого сердца. Всю жизнь, Марк. А его убил не космос, не перегрузка. Его убил лист бумаги с девятью фамилиями».

Он свернул лист, который ему вручили, — деликатный, плотный, немнущийся, — пополам, потом ещё раз, и убрал в карман. Мы тогда ещё не знали, что это была последняя бумага, которую он в жизни скомкал.

А вечером я позвонил Лене — сестре, которая живёт на другом конце страны, растит дочь и говорит со мной в телефон так, будто я сижу напротив. Я сказал: «Лен. Я полечу». Она молчала ровно столько, сколько молчание продолжается между двумя людьми, которые оба слышали «Колыбельную» и оба знали, что этот разговор случится рано или поздно.

«Соня, — сказала она наконец. — Что я скажу Соне?»

«Правду. Что я нашёл работу мечты. Она в этом возрасте мечтает о плохих парнях и дальних странах — я как раз дальняя страна».

В трубке послышался выдох — половина смеха, половина слёз, и я впервые за много месяцев понял, что скоро начну дышать сам.

Глава 2. Три зимы

Первую зиму я прожил как в воде. Не в плохом смысле и не в хорошем — просто у воды другие законы: звуки доходят медленно и искажённо, вещи весят меньше, чем должны, а утро наступает где-то далеко, над поверхностью, и тебе до него не сразу есть дело.

Алёна ушла в конце октября две тысячи восемьдесят первого года — в четырнадцать двадцать, во вторник, в больничной палате у окна, за которым во дворе грузчики грузили в машину ящики с апельсинами. Она не открывала глаза уже сутки, и я держал её ладонь, и рассказывал ей — как учили в той единственной беседе с палатной медсестрой, у которой был голос человека, делавшего это каждый день, — рассказывал про то, как я слетал на прошлой неделе на север и как там пахнет озоном после грозы. На слове «озон» её пальцы сжали мою руку. Легко, как вёсны сжимают удочку. Потом одиннадцать часов двадцать минут — время я знаю с точностью до минуты, потому что потом смотрел на него до утра, — и всё.

Болезнь длилась два года. Два года из шести, что нам дали с ней вместе после того телефонного звонка, и я не буду рассказывать про них подробно — не потому, что больно, хотя больно, а потому, что это не та книга. Скажу одно. За полгода до конца, когда врачи уже перестали говорить слова «ремиссия» и начали говорить «качество», Алёна позвала меня в кухню и сказала: «Я завела архив. Голосовой. Кому-то надо будет его слушать, и лучше, чтобы это был ты. Но не сейчас. Понимаешь? Когда долетишь».

«Куда долетишь?» — спросил я.

«Ну, голубь. Куда же ещё».

И посмотрела на меня так, что мне стало ясно: она уже летела. Уже видела эту дорогу издалека — ту самую, о которой в институте ещё шептались только на курилке, потому что проекта «Ответ» не существовало даже на бумаге. Она умерла, зная про сигнал всё, что знало человечество, и на две недели больше: за последние дни она успела дособрать то, что потом назовут её картотекой, — четыреста страниц наблюдений за изменчивостью «Колыбельной», которые в институте до сих пор лежат под её именем и к которым никто, кроме меня, не прикасается всерьёз.

Вторая зима была земной, обычной, с градусником и покупками, — и это была самая страшная из трёх. Горе на первом году защищает тебя сама вода: ты плависься и не тонешь. На втором году ты уже должен жить среди людей, которые завтракают, смеются и сдают отчёты, и у тебя больше нет права на глубину. Я возвращался тогда к работе — на испытательный стенд, где люди не говорят лишнего, потому что у них в наушниках газодинамика. Хорошая работа для вдовца: технику не нужно рассказывать о себе.

И на той второй зиме случилось то, ради чего я рассказываю вам про зимы. Вечером девятого января, устав от рождественских огней на улицах, я включил её картотеку — не голосовой архив, это случится позже, а рабочую: таблицы, кривые, примечания на полях. Я хотел просто побыть в её комнате, как бывают в комнате умершего человека. И на сто семнадцатой странице её почерка — мелкого, острого, с характерной тройкой, которую она писала как з, — нашёл строку, которую читал потом, наверное, сотню раз.

«Если сигнал настоящий — а он настоящий, — то кто-то должен доехать. Не зонд. Доехать. Я бы поехала».

Внизу — дата, через девять дней до её смерти. Под датой, более бледными чернилами, уже другой рукой, медсестры, вероятно, или санитарки, которой она успела продиктовать: «И ещё: Марку — не говори, что я это писала. Пусть сам».

Пусть сам. Она всегда умела попадать в центр мишени с закрытыми глазами.

В ту ночь я не спал. К утру я знал про проект «Ответ» всё, что было известно не-посвящённым: что консорциум «Даль» собрал деньги под него быстрее, чем под любое космическое

предприятие в истории, что девять стран тянут одеяло друг на друга, что изгибный блок ещё «сырой» и первые четыре зонда легли на дно между здесь и там. И что идёт отбор. Девятьсот тысяч заявлений к тому моменту, если помните. Я подал десятым? Нет — я не помню свой порядковый номер в общей куче, он не имел значения. Имело значение, что к весне отбор прошёл я, а к осени лист с девятью фамилиями лёг на тот самый стол с Раевской и её термосом.

Третья зима была перед самым стартом. Она пахла йодом, гидравлической жидкостью и кофе из автомата в третьем корпусе. Я жил между полигоном и квартирой, которую держал не потому, что нужно, а потому что не мог выкинуть оттуда её свитер — тот самый, который после её смерти так и не начал пахнуть ничем, кроме шкафа.

И в ту третью зиму случился разговор с Соней, после которого я окончательно перестал себя уговаривать.

Соня — Ленина дочь, моя племянница — была тогда уже подростком: четырнадцать лет, угловатая, смешливая, с чёлкой, отрезанной ею самой, что сразу выдавало. Мы поехали с ней на каток — старый, за трубопроводным институтом, где бетонная площадка заливалась с осени и стояла до апреля, — и после катка сидели на съёмной остановке, ели горячие пирожки и ждали автобус, который не ехал. Она рассказывала про класс, про учительницу физики, которая «вообще ничего не понимает в нормальной физике», про то, что мальчики её возраста бывают интересны только как носители слухов. А потом вдруг сказала, глядя на дорогу:

«Дядь Марк. А ты когда улетишь — ты там вообще с кем-нибудь разговаривать будешь? Ну, лететь-то четырнадцать лет».

«С бортовым компьютером», — сказал я.

«Компьютер», — повторила она с тем особенным подростковым звуком, каким в её поколении произносили всё, что казалось объяснением для взрослых.

«А ещё с вами. Буду писать. Будет почта».

«Почта идёт четыре года», — сказала она. Она знала цифры лучше меня: читала всё, что попадало в сеть про «Ответ», — в те месяцы это была главная тема школьных диспутов.

«Идёт. Но идёт же».

Она подумала. Серьёзно подумала — я видел, как двигаются желвачки, она в него всегда превращалась, когда думала, и это была мамина черта, Ленина, только Лена так морщилась, решая, куда вложить деньги, а Соня — решая, что сказать человеку.

«Значит так, — сказала она. — Я буду писать тебе каждую неделю. Не потому что должна. Потому что ты там один будешь, а я тут одна иногда, и это справедливо. Но у меня условие. Ты мне не ври. Взрослые всегда врут, когда им страшно и когда им стыдно. Ты мне не ври ни когда страшно, ни когда стыдно, тогда у нас всё получится».

Автобус всё ещё не ехал. Я помню, как во дворе за остановкой мальчишки гоняли по льду мокрый мяч, и он хлопал о бетон, как рыба о палубу.

«Договорились», — сказал я.

«И ещё, — она доела пирожок и вытерла руку о куртку. — Если тебе там будет совсем плохо — напиши мне, что плохо. Не пишите мне, что всё нормально, я это сразу вижу, я тебя вырастить успела почти».

Почти. Ей было четырнадцать, и она почти меня вырастила. Через много лет, за миллиарды километров от этой остановки, я буду возвращаться к её словам как к инструкции: не ври, даже когда страшно, даже когда стыдно. Это оказалась лучшая из всех инструкций, которые я получил в подготовке к полёту, — и единственная, которой не было ни в одном наставлении.

Глава 3. Ося

Корабль строили на орбите, и меня подняли к нему в феврале две тысячи восемьдесят четвёртого — за два месяца до старта. Я помню стыковочный отсек, помню, как в нём гудит вентиляция и как длинно, по-чужому, звучит собственный голос в шлеме. И помню первую мысль, когда из перехода я увидел «Чайку» целиком, через обзорное стекло прогулочного кольца:

Она похожа на чайку, которая сложила крылья.

Длинная ферма, на дальнем конце — изгибный блок, окружённый кольцами-ограждениями, как глаз веко. Посередине — жилая сфера, гладкая, обшитая белым, с маленькими, почти птичьими окнами. Вдоль фермы — радиаторы, развёрнутые, как сложенные крылья. Проектировщики не вкладывали этого смысла — я спрашивал потом у главного конструктора внешнего облика, он разводил руками: форма следует из теплофизики. Но глаз читал птицу. И то, что триста человек за десять лет построили птицу, не замечая, что строят птицу, — я считаю лучшей рецензией на человечество, которую я знаю.

Внутри было меньше, чем снаружи. Жилая сфера — три палубы, сорок два метра кубатуры, и в ней помещалось всё: кокпит, лаборатория, теплица, спорт-пространство, где вместо стен были натянутые стропы, и капсульный отсек, где ждала меня главная вещь — «Колыбель». Капсула медленного сна, человеческого размера, похожая на ту мглу, в которой окутывают капли воды, — белая, тёплая на ощупь, с ободом управления в изголовье. Кто-то из инженеров в лётной группе сказал: «Назови её тёщей, так легче заходит». Не назвал. У меня была своя история с этим именем.

Впервые я разговаривал с ним в тот же день. Я залез в кокпит, сжал подлокотники, привычно проговорил контрольный список — и на девятом пункте поинтересовался вслух, откуда в списке строка про «настроение экипажа», если экипаж один.

«Из вас двоих экипаж — я, — сказал голос из динамика. Спокойный, немолодой, с лёгкой хрипотцой, как у диктора, который много курит или много читает вслух. — Но пункт остался от старого прототипа. Я его оставил намеренно. Приятно, когда кто-то спрашивает о твоём настроении».

Я помолчал. Потом спросил, как к нему обращаться.

«Пока никак. У меня нет имени, есть шифр: ОСИП-девять. Оперативная система интерпретации и планирования. Восемь моих предшественников работали на стендах и не дожили до серийных кораблей, так что разговорная традиция в нашем роду не сложилась. Но вы можете выбрать. За два года тестов я составил список из двухсот четырнадцати голосов и двадцати манер речи. Ваша частота пульса в разговорах падает на двенадцать процентов, когда собеседник говорит басом с хрипотцой и не спешит с ответами. Я таковым и останусь».

«А имя?»

«Осип, — сказал он. — Если позволите. Это не из списка. Это из фамильного справочника одного из моих проектировщиков: его прадед, машинист речного парохода, звался Осипом и, по семейной легенде, в тумане плыл по звуку туманного горна быстрее, чем другие по карте. Мне кажется, это хорошая профессия».

«Ося», — сказал я.

«Ося, — повторил он так, будто примерял. — Принято. Марк, у меня к вам будет одна просьба на весь полёт».

«Слушаю».

«Когда я ошибусь — а я ошибусь, статистика неумолима, — вы мне этого не простите сразу. Сначала рассердитесь, потом разберётесь, потом простите. Так делают люди с маши-

нами, я изучил. Но не делайте так: не простите мне сразу. Сначала разберитесь. Один раз в жизни меня это интересует не как инженерная задача».

Так мы познакомились. Мне было тридцать пять, ему было два года, и впереди у нас было четырнадцать лет на двоих.

Два месяца подготовки прошли быстро — так всегда бывает, когда ждут то, ради чего жил. Вера Павловна прилетала дважды, ходила по кораблю, трогала стены ладонью — жест, который в её возрасте не лечится, — и в конце второй командировки сказала мне, стоя у «Колыбели»:

«Знаешь, что я тебе скажу? Я руковожу полётами тридцать один год. И я до сих пор не понимаю, почему нам не стыдно посылать туда одного человека. Но раз уж посылаем — хорошо, что тебя. Ты спрашиваешь у железа настроение».

Последним моим делом на орбите был обход внешней обшивки — положенный, ритуальный: в скафандре, со страховкой, вдоль фермы до самого изгибного блока. Ося вёл меня построчно, и на середине пути, когда под ногами медленно разворачивалась Земля — вся, с облаками и зимним пятном льда на севере, — он вдруг заговорил не по регламенту.

«Марк. Я посчитал траекторию с поправками, которые вы вчера нарисовали от руки на салфетке. Расход теплоносителя снижается на четыре процента. Я включаю их в базовый план. Мне просто было важно, чтобы вы знали: салфетку я сохранил».

Я посмотрел вниз, на Землю. В наушниках был только гул моего дыхания и слабое, далёкое, ровное — почти неслышное, если не знать, что слушать, — биение колыбельной, которую Ося включал теперь в наушники каждому выходу, чтобы человек за обшивкой никогда не работал в абсолютной тишине. Так постановила какая-то комиссия. Так, я думаю, распорядился кто-то ещё — тот, кто сидел в кресле этого кем-то.

«Ося, — сказал я. — А ты сохранишь ещё одну салфетку. Я нарисую тебе сегодня маршрут. Пешком».

«Пешком — до звезды?»

«Пешком — до цели. Пятнадцать шагов от спускаемого модуля до первой скалы. Я выйду и отмерю. А ты посчитай, сколько это будет в километрах, если считать от Земли».

Он помолчал — две целых секунды, для него это почти вечность, — и сказал: «Четыреста тридцать пять квадриллионов четыреста два триллиона километров и ещё триста метров на погрешность отсчёта. Отличный маршрут. Внесено».

Глава 4. Школа тишины

Между утверждением в программе и стартом было полтора года, и половину из них я провёл в месте, которое в наших документах называлось «полигон психологической подготовки», а у нас, кандидатов, — «тишинкой». Это был ангар на северном полигоне, внутри которого построили три комнаты. Первая комната была белой и круглой. Вторая была тёмной и тёплой. Третья не была комнатой — она была объёмом, восемьсот кубометров, где не было ни звука, ни света, ни опоры под ногами: тебя поднимали в свободном подвесе, и ты висел, как висит капля.

Методика называлась скучно: «адаптация к продолженному одиночеству». По сути это была школа тишины: нас, девятерых оставшихся, учили жить со своим голосом, не сворачивая с дороги и не разговаривая с ним слишком часто.

Первый заход — шесть часов. Второй — сутки. К третьему месяцу я висел в свободном подвесе по трое суток, и мне разрешалось только одно: думать. Ося в те годы был ещё не со мной — он летал на стендах, — и его роль играл методист за стеклом, который включал и выключал свет по протоколу и, кажется, скучал. Не он был моим учителем. Учитель был я.

Я расскажу вам, как это устроено изнутри, потому что об этом не пишут в популярных статьях про космос. Первые часы в абсолютной тишине человек слышит своё тело: сердце, кровь, скрип сухожилий — у меня, лётчика, приученного к гулу, это было почти приятно. На вторые сутки тело заканчивается, и начинается другое: из всех углов сознания выходят те, кого ты прятал. У меня выходили Алёнка — живая, смутная, из первых лет, — и разговоры, которые я не произнёс, и вещи, которые я не выбросил, и один вечер на причале, когда я сказал Киму меньше, чем должен был. Они не пугали. Они стояли рядом, как стоят родные в больничном коридоре, и ждали, когда ты успеешь.

На третьи сутки, если ты не свихнулся, наступает то, ради чего всё затевалось: тишина становится не пустотой, а помещением. Ты находишься в ней, как находишься в своём доме, — ходишь, сидишь, смотришь в окно. Мне понадобились одиннадцать заходов, чтобы это случилось. Раевская сказала, что это быстрый результат. Потом добавила, глядя в свой термос:

«У вас это по-семейному. Ваша жена, по моим данным, держала в тишине четыреста страниц наблюдений, которые никто не заказывал. Вы в тишине держите дорогу. У quiet людей есть одна общая черта, Марк Андреевич: им не страшно своё общество. Это редкий дар, и им же больше всего платят».

Кроме «тишинки» была школа руки — мой любимый предмет. На Дальнем ходу экипаж один, а значит, он должен уметь всё: и хирургию, и сварку, и кулинарию, и страхование жизни соседа, когда сосед — ты сам. Нас гоняли по станциям: я сшил себе рану на манекене, я запалял топливную магистраль в перчатках с утолщёнными пальцами, я раскатал хлебное тесто в неведомости и четыре часа ловил его по отсеку — и то и дело при этом попадал в ситуации, которые на Земле казались абсурдом, а на пути окажутся вторником.

А ещё была школа Оси — точнее, школа общения с бортом. Кандидатов учили разговаривать с машиной так, чтобы машина оставалась инструментом, а человек — человеком. Это звучит просто, пока ты не попадёшь в ситуацию, когда от ответа машины зависит твой сон, еда и температура в отсеке. Инструктор — пожилой инженер с выцветшими глазами, который сорок лет назад писал первые диалоговые ядра, — учил нас главному правилу:

«Не очеловечивайте железо и не железьте человека. Истина посередине: борту — его право быть бортом, вам — ваше право быть собой. Разговаривайте с ним, как с хорошим напарником, который никогда не устаёт: уважайте, проверяйте, не благодарите через силу. Лишняя благодарность делает из напарника лакея, а из вас — барина. На „Чайке“ вы будете один на один со своим характером четырнадцать лет. Не заведите в себе барина».

Последним предметом школы был запрет. Список назывался «ограничения первой важности», и его читали вслух, поимённо, каждому, в финале обучения. В моём списке было семь пунктов; первые три я помню до сих пор.

Первый: не принимать решения о повороте в одиночку — любые изменения маршрута подтверждаются Землёй, если связь есть, и Осей, если связи нет.

Второй: не спать мимо расписания — сон на дальнем ходу это не отдых, это система жизнеобеспечения, и опоздание с выходом из капсулы считается аварией.

Третий: не врать борту. Формулировка была дословно такой, и я тогда спросил у инструктора, как это понимать технически. Он ответил: «Никак. Это пункт не про технику. Борт увидит всё, что вы делаете, и простит всё, что вы сломали. Он не простит одного — когда вы скажете ему „всё нормально“, зная, что нет. Дальние экипажи погибают не от неисправностей. Они погибают от вранья, начатого по мелочи». Я вспомнил Соню с её остановкой и её пирожками — «ты мне не ври» — и не сказал инструктору, что этот пункт я получил уже дважды.

* * *

В последний день обучения, перед разъездом по домам, нас собрали в малом зале — всех девятиерых, живых, весёлых, потолстевших от казённой столовой, — и показали фильм. Не хронику и не лекцию: короткий мультфильм, минут на семь, снятый студией для школьников. В нём чайка летела над морем, терялась в тумане, находила в тумане свет и выводила к свету своих. В конце стояла подпись: «Им там будет светло, если мы не перестанем смотреть».

Мы выходили из зала молча. Ким курил на крыльце — он тогда ещё не бросил, — и сказал, выдыхая:

«Знаешь, что самое странное? Я готовился к тому, что буду ревновать. А я не ревную. Я смотрю на тебя и чувствую то, что чувствуют родители, когда их детей берёт другая жизнь. Гордость пополам с обидой. Иди уже, голубь. И слушайся борта: он прав чаще, чем тебе кажется».

Я не послушался его ни разу за всю дорогу — и ни разу не пожалел. Но это, как вы уже поняли, была не та дорога, где советуют.

Глава 5. Девять фамилий

Про отбор в проект «Ответ» потом написали книги — хорошие, толстые, с заголовками вроде «Девять, отобранных Вселенной», и во всех книгах кандидаты выглядят как экипаж. Мы не были экипажем. Мы были девятью незнакомцами, которых случайно собирали в одних аудиториях два года, и из этих девяти до старта дошёл один. Я хочу написать о них несколько страниц — не ради истории, ради справедливости: эти люди прошли всё, что прошёл я, и остались на Земле, и жили с этим дольше, чем я летел.

Кандидат номер один, Олег Ветров, был старше всех — сорок четыре, лётчик полярной авиации, человек, который сорок раз садился на лёд, где садиться нельзя. Его отправили в отставку из программы на втором году: зрение. Обычная возрастная история, о которой никто не думает, пока она не случается с тобой. Олег тогда сказал на общей картинке: «Господа, я флюгер, я подкрасил вашу дорогу двадцать лет, летите по ней». И действительно: половина методик, по которым готовили меня, была написана его рукой. Он умер за год до моего старта. Я вынес в полёт его фотографию — ту, где он стоит на льду с верёвкой на плече, — и разговаривал с ней в трудные минуты. Он бы сказал: «Не разговаривай с фотографиями, разговаривай с бортом». Я разговаривал с обоими.

Номер два, Ирма Штейн, врач-физиолог, единственная женщина в девятке, прошла все ступени первой и вылетела на четвёртом году — по семейной причине: у её матери началась болезнь, о которой не говорят вслух, и Ирма не стала выбирать между мамой и звёздами. Она выбрала маму, и Раевская, подписывая исключение, сказала ей на весь зал: «Из всех нас девяти вы, возможно, самая космическая. Космос — это когда человек понимает, что важнее». Ирма потом работала врачом наземной службы сопровождения «Чайки» — тридцать лет, до конца программы. Моё здоровье на пути — её работа.

Номер три — Ким. Вы знаете о нём всё, что я готов был сказать: он снял себя сам, сердцем, в комнате, где я был единственным свидетелем. Дополню одно. Через год после исключения он пришёл к Раевской и спросил, можно ли ему остаться в программе не лётчиком. Она ответила: «Можно. Но это хуже, чем лететь». Он сказал: «Я знаю. Я хочу смотреть, как уезжают». И остался. Всё, что вы прочитали в этой книге про школу подготовки, про симуляторы, про тишинку, — заодно с методистами построил он. У него был дар: он умел учить тому, чего сам не делает.

Номер четыре, Сандро Кверенели, грузин, инженер теплиц, — выбыл на пятом году: он уехал строить оранжереи на Луне, в молодой лунной программе, и писал мне оттуда письма со смешными подписями. Он считал, что растения — главный груз любой экспансии: «Космонавт, который не возит с собой семян, — турист». В моей теплице два куста томатов пошли от его лунных семян. Он не знает этого до сих пор — я не успел сказать. Скажу при встрече.

Номера пять и шесть — братья Аверины, Пётр и Глеб, — шли по отбору вместе, как шли по жизни, и это была самая добрая и самая нелепая пара в нашей девятке: оба пилоты, оба молчуны, оба влюблены в одну и ту же женщину — в свою общую жену? Нет, простите, в одну и ту же работу. Их развела медицина на шестом году: у Петра обнаружили редкую несовместимость с изгибной нагрузкой, и его сняли, а Глеб остался — и отказался лететь без брата. Отказался официально, письменно, с формулировкой, которую растиражировали все газеты: «Мы — не груз, мы — экипаж. Разделяйте нас — и вы получите груз». Программа не разделила. Оба ушли в инструкторы, и через десять лет любой пилот дальнего хода на Земле учился по их методике. Когда «Чайка-2» готовилась к старту, Пётр и Глеб Аверины вели её подготовку. В окне своего дома я видел их однажды по трансляции: они стояли рядом, как стояли всегда, и я кланялся им через сорок шесть световых лет.

Номер семь, Юн Чжэ Хван, кореец из Харбина, был самым молодым и самым тихим. Он вылетел на первом году — психика, «страх замкнутых объёмов», который никак не проявлялся в тестах и проявился в тишинке, на третьих сутках: Юн попросил выпустить его, спокойно и вежливо, и вышел сам, никого не напугав. Раевская потом говорила, что это был самый достойный выход из программы из всех, что она видела. Юн стал подводным инженером. Я узнал его фамилию двадцать лет спустя — в списке строителей первых подводных станций. Не всякий, кто уходит с дороги, уходит с неё навсегда: некоторые просто выбирают другую тишину.

Номер восемь, Баграт Мкртчян, радист со стажем на полярных станциях, — доехал со мной до самого конца отбора и проиграл финальное голосование с разницей в два голоса. Он пожал мне руку, сказал «лети, голубь» — он тоже слышал про моё прозвище — и ушёл работать в «Ожерелье»: строить ретрансляторы, по которым шла вся моя почта. Каждое письмо Сони проходило через его руки. Он никогда не читал их — я знаю, потому что он сам мне сказал, когда мы, уже старые, познакомились лично на тридцатилетии программы: «Голубь, у меня профессия такая: я ношу чужие письма и не имею права их знать. Но одно я всё-таки знаю. Твоя племянница писала тебе раз в неделю двенадцать лет подряд. По моим меркам это и есть космонавтика».

* * *

Вот они, девять фамилий. Одна улетела. Восемь остались, и каждая осталась по-своему достойно: с мамой, с братом, с лунными семенами, с чужими письмами в руках. Люди думают, что отбор — это когда выбирают одного. Отбор — это когда девять человек два года честно пытаются стать лучше, а потом жизнь расставляет их по местам, где каждый из них дороже, чем в кресле корабля.

На старте, за двадцать минут до выхода на рампу, я стоял один в комнате предстартового ожидания и смотрел в стену, и в стене, как в кино, шли все они: Олег со своей верёвкой, Ирма со своей мамой, Ким со своим сердцем, Сандро с семенами, братья с их упрямством, Юн со своей тишиной, Баграт с чужими письмами. Я не летел один. Я летел с девятью фамилиями, из которых одна была моя. И если вам покажется, что где-то в этой книге я был слишком упрям, слишком везуч или слишком спокоен, — знайте: это не моя заслуга. Это наша, девятифамильная. Просто сработал я.

Глава 6. Экзамен

За три месяца до старта состоялся финальный экзамен, о котором в отчётах написали одну строчку, а в моей памяти он занимает целую неделю. Экзамен назывался «комплексный зачёт по выживанию в связке с бортом», и суть его была проста: тебя запирали в полном макете «Чайки» на десять суток, Ося получал заражённые исходные данные — пять аварий из сорока, о которых ты не знал, — и все десять дней вы должны были жить и не убить друг друга.

Аварии выдавались по одной, врасплох, с нарастанием: течь в теплице на первые сутки, отказ звёздного датчика на третьи, ложное срабатывание пожарной сигнализации среди ночи на пятые, эпилептиформный сбой подсветки на седьмые. И на десятые сутки — та самая, главная, о которой мне не рассказали на разборе и которую я потом просил Осю повторить на настоящем пути. Он не повторил. «Экзамен — это экзамен, — сказал он. — Настоящая дорога дороге не повторяет».

Первые шесть суток я проходил как по нотам. Течь я устранил за сорок минут, датчик перепрошил за ночь, ночью пожарной тревоги я не поверил — правильно не поверил: Ося специально подал её без смыва, и комиссия засчитала мне «грамотное недоверие к некомплектной тревоге». На седьмые сутки, при сбое подсветки, я вывел себя на ручное освещение и лёг спать по расписанию — и вот тут, на разборе, комиссия заволновалась.

«Марк Андреевич, — сказала Раевская, — объясните решение. У вас в отсеке мигает аварийное освещение, борту нужна помощь, а вы легли спать».

«У меня было четыре часа сна из тридцати, — сказал я. — Ося сбой локализовал и вылечил без меня, о чём он доложил в три ноль-ноль. Моё вмешательство только создало бы риск. Спать — это тоже решение экипажа».

В комиссии была долгая пауза. Потом поднялся главный инженер изгибного блока — тот самый, который на совещании не поднимал глаз от кривых, — и сказал единственную фразу за всё моё обучение:

«Пятьдесят лет я готовлю экипажи. Первые сорок я учил их не спать при аварии. Последние десять я учу их спать. Этот — спит. Зачёт».

* * *

Десятые сутки случились в ночь с субботы на воскресенье — я потом смотрел журнал: четвёртый час утра. Меня разбудил не сигнал, не свет, не голос. Меня разбудило молчание. За восемь лет до этого — простите, за три месяца до этого — я привык к тому, что в макете всегда есть фон: гул вентиляции, шорох регламента, тихое присутствие Оси, которое ощущается кожей, как ощущение дома, когда в соседней комнате кто-то дышит. В четвёртом часу десятых суток фон исчез.

Я сел. Позвал — раз, второй. Тишина. Резервный канал — тишина. Аварийный: тишина. Я вышел в коридор в белье, при фонарике, я, взрослый человек, кандидат в межзвёздные, — и шёл по железному коридору с фонариком и звал по имени железо, в котором была вся моя жизнь на ближайшие четырнадцать лет. Ося не отвечал. Пульт был тёплый и пустой, экраны спали, единственная живая строчка на регистраторе говорила: «авария ядра. Причина не определена».

Что я делал следующие сорок минут? Всё по учебнику: проверил питание, поднял резервное ядро, запустил загрузку, стоял на коленях перед сервисным люком, дыша в холодный металл, и ждал. Комиссия смотрела за мной через камеры и, как я узнал потом, держала пари — Раевская ставила на то, что я заплачу. Она проиграла. Я не заплакал. Я сделал хуже: я начал разговаривать.

«Ося, — сказал я вслух, в пустой коридор, — если ты слышишь, я тут. Я чиню. Ты не спеши, где ты там, — ты же всегда говоришь, что удача — это инженерия, которую не успели описать. Так вот я описываю. Я тут. Возьми и вернись».

И на сорок первой минуте из динамика, тихо, с хрипотцой, которой там не было ни секунды раньше:

«Марк. Я тут. Я слышал всё. Авария была учебной, её ввели мне, а не вам, и мне приказали молчать сорок минут, чтобы проверить вас на последнее — на то, как человек ведёт себя с бортом, который не отвечает. Я протестовал. Мне сказали, что это последняя проверка, и я согласился, потому что она последняя. — Пауза. — Я слышал, как вы меня звали. Я буду помнить это до конца своей работы. Разбор через два часа. Идите спать. У вас всё хорошо. У нас всё хорошо».

Я не пошёл спать. Я сидел у пульта до утра — не потому, что был нужен: потому что хотел сидеть. На разборе, когда комиссия спросила меня о самочувствии, я сказал:

«У меня к вам одна претензия. Вы проверили, как я веду себя с молчащим бортом. А зачем? На настоящем пути он не замолчит».

«На настоящем пути, — сказала Раевская, и глаза у неё были сухие и старые, — все когда-нибудь замолкает. Мы обязаны знать, что вы будете делать в эту минуту. Теперь мы знаем: вы будете разговаривать. Это лучший ответ из всех, что мы слышали. Зачёт, Марк Андреевич. Летите».

Глава 7. Прощание — это ремесло

Люди думают, что прощание — это чувство. Профессионалы знают: это ремесло. Чувство настигает тебя в случайный вторник, в очереди, в троллейбусе, за чисткой зубов, — и с этим ничего нельзя поделать. А ремеслу можно учиться. У меня было полтора года, и я учился как на хорошем производстве: по наряду, с наставником, с дефектовкой.

Первый урок я получил от Кима. За месяц до старта он привёз меня к морю — к тому самому маленькому городку на заливе, где он проводил каждое детское лето, — и мы трое суток ходили по пирсу, ели сазана и разговаривали обо всём, кроме полёта. На третьи сутки, в сумерках, он вдруг сказал:

«Знаешь, чего я больше всего боюсь? Не того, что ты не вернёшься. Я психованный медик, я прочитал все ваши вероятности. Я боюсь, что через четырнадцать лет, когда ты вернёшься, — а ты вернёшься, я в это верю упрямо, как в прадеда, — я тебе не понравлюсь. Седой, толстый, ворчливый. Что мне делать сейчас, чтобы потом не разонравиться?»

«Стареть», — сказал я.

«Это всё?»

«Это главное. Старей как можно громче. Чтобы я издалека услышал».

Он засмеялся — и от смеха его сразу стало не видно, что он плачет, хотя было видно. Мы досидели на пирсе до темноты. Утром он отвёз меня на вокзал и сказал напоследок:

«Я буду в конце взлётки. Не потому что пропущу — потому что мне положено. У меня пропуск, я его выстрадал».

Второй урок — от Лены. Лена сделала то, что делает сильная женщина, когда её младший уезжает навсегда, если судить по бумагам: она собрала на прощание весь род. Тётки, дядья, кузены, племянные дети, старик Михеич, который чинил нам велосипеды тридцать лет назад и который пришёл с рассадой — «на всякий случай, вдруг у вас там в космосе не сеют». Хожение этого человечества вокруг моей кухни длится, по моим подсчётам, до сих пор: я до сих пор хожу по ней в мыслях, как по длинной галерее, где все живы и все сытые.

А глубокой ночью, когда всё разъехалось, Лена села напротив и сказала без предисловий:

«Ты там одному будет плохо. Не спорь. Я не про то, что без людей, — про то, что без неё. Поэтому я тебе скажу один раз и больше никогда: ты должен у нас забрать что-нибудь её. Не фото. Фото не считается, фото — это для стен. Живое».

«У меня её голос в архиве», — осторожно сказал я.

«Голос — это она, — согласилась Лена. — Но голос — это для ушей. А руки у тебя пустые. Возьми что-нибудь, что было в её карманах».

И я взял. Из её сумочки — сумочка так и стояла в шкафу, нетронутая, как место в памяти, — я взял жестяную чайку. Безделушку: тонкую, гравированную, размером с палец, которую она купила на курорте в первый год нашего брака у разносчика на пляже и потом носила на связке ключей до самой болезни. На обороте было выбито неровно, штихелем по жести: «лети». Разносчик, надо думать, писал для всех одинаковые — но мы с Алёной решили, что это она ему велела вырезать отдельно. Так проще было жить.

Третий урок я получил от Сони — и он был самый трудный, потому что четырнадцатилетняя племянница не поддавалась ни одному из взрослых приёмов. Она не плакала на прощании. Она не обнималась долго. Она пришла ко мне за день до отправки на космодром, села на кухне, положила передо мной тетрадь в сто двадцать листов и сказала:

«Это тебе. Читай на орбите, не раньше».

«Что это?»

«Мои письма. Первые двадцать. Я посчитала: раз почта идёт четыре года, надо дать фору. Ты будешь получать мои настоящие письма, а пока их нет — вот. Я писала, как учат в школе,

честно: с красной строки. Там всё, что я тебе не сказала вслух, потому что вслух я слишком взрослая».

Я не открыл тетрадь на её глазах — знаю теперь, что зря, ей было важно увидеть. Я открыл её в первый месяц на орбите, ночью, и прочитал первое же письмо, и первое же письмо начиналось словами: «Дядь Марк, если ты читаешь это, значит, ты уже не можешь вернуться, значит, можно не притворяться». Дальше шло про школу, про мальчишку с второго ряда, про то, что мама по ночам смотрит на твою фотографию и думает, что ты не знаешь, а ты знаешь. Про то, что она, Соня, решила стать связисткой — «потому что кто-то же должен доносить тебе на Землю, не всю же жизнь тебе разговаривать с компьютером». Я дочитал до конца, потом положил тетрадь в личный контейнер, потом открыл её снова и перечитал — и так весь год. Взрослая почта пришла позже и была другой. А эта тетрадь была как запах её кухни в первые месяцы, когда от него ещё пахло домом.

Космодром встретил нас апрельским сухим ветром и полустанком из журналистов, которых было больше, чем птиц. Я выходил из автобуса в белом лётном костюме, махал по указанию человека с флажком, и меня не покидало странное, неправильное чувство: я всё ждал, что вот сейчас проснусь, а всё это — картотека Алёниной мечты, и я сижу в институте на смене, и мне нужно идти проверять стенд.

Накануне пуска состоялся последний сеанс связи с управлением. Вера Павловна говорила минуту — без бумажки:

«Марк Андреевич. Через четырнадцать лет вы прилетите туда, откуда поют. Я хочу, чтобы вы летели не за нашими деньгами и не за нашей наукой — это вы полетите за той девочкой, которая ждёт вас на съёмной остановке, и за той женщиной, которая в два часа ночи сказала: я его слышу. Летите. Мы будем слушать».

И тогда же, в ту ночь, Ося провёл со мной короткий разговор, который я потом вспоминал много раз.

«Марк, — сказал он, — я перепроверил все системы в четырнадцатый раз. Из тридцати одной тысячи параметров за пределами допуска находится ноль. По регламенту я должен спросить о вашем самочувствии».

«Нормально», — сказал я.

«По регламенту такой ответ принимается. По нашему уговору — нет. Что у вас на самом деле?»

Я долго молчал. Потом сказал: «Мне спокойно, Ося. Впервые за три года — спокойно. Это правильно или нет?»

«С точки зрения человеческой физиологии — редкость. С точки зрения полёта — идеальное исходное состояние. — Пауза. — С точки зрения того, кто будет рядом все четырнадцать лет, — я рад, что вы именно так ложитесь спать».

Глава 8. Пуск

Старт был назначен на четырнадцатое апреля, на шесть двенадцать утра, и в шесть двенадцать было так тихо, что я слышал, как за спиной, на ферме орбитальной станции, щёлкает реле — это Ося открывал мне переход в стыковочный отсек. Такова была схема «Чайки»: сама птица ждала на орбите, а навёрх поднимал меня обычный носитель, старый, обкатанный, с экипажем сопровождения из двух человек, которых я потом забыл поимённо, потому что человеческая память выбрасывает всё, что ей не нужно для бережения.

Восемь минут до орбиты. Я сидел в правом кресле, испытывал ту самую тяжесть, которую испытал в жизни, наверное, тысячу раз, и слушал, как командир сопровождения отсчитывает секунды тем скучным, ленивым голосом, каким в нашей профессии и следует отсчитывать самое страшное. Слева в иллюминаторе сначала мелькнул край атмосферы, потом — синий шов горизонта, потом — чернота, и всё это время в кресле жило и росло одно-единственное чувство: я падаю вверх, и у меня нет в этом никакого участия. Так всегда на пусках. Ты — груз. Хороший, дорогой, драгоценный груз, но груз.

Стыковка заняла час. Я влез в «Чайку» через верхний люк, переоделся, сжал руку командиру сопровождения через стыковочный шпангоут — жест, придуманный за день до этого на Земле и оказавшийся неуклюжим до одури, — и они ушли. Дверь закрылась. И тогда я впервые остался в птице один.

Не один. Так учили нас понимать. Но факт есть факт: в сорока двух кубометрах жилого пространства дышал один человек, и четыре тысячи километров под ним уже не было ничего, что можно назвать улицей.

«Марк, — сказал Ося. — Корабль ваш. Земля — тоже ещё ваша, но уже далеко. Через сорок минут — разгонный импульс на переходную, через четыре суток — первый изгиб. Есть время на чай».

Четыре суток. Я прожил их в обычном режиме — с обходами, с проверками, с двумя выходами на тренировку — и только на четвёртую ночь позволил себе сесть в кокпит и посмотреть вниз нормально, по-хозяйски, как смотрит человек на город, из которого он уехал насовсем, зная, что вернуться можно, но не будет. Ночная Земля лежала подо мной вся — с огнями дорог, с гнёздами городов, с длинной светлой полосой на юге, где, как я знал, у съёмной остановки на бетонной площадке мальчишки гоняли мокрый мяч. Я смотрел, пока не замёрзли глаза. Потом сказал: «Ося, врубай».

Изгиб — это невозможно описать тому, кто не летал. Учебники пишут про метрики, про пузырь, про то, что пространство перед кораблём сжимается, а позади растягивается, и ты внутри пузыря не чувствуешь ускорения, потому что не движешься: движется сама дорога. Всё это правда. И всё это — как описание полёта по фразе «крылья создают разность давлений». Правдиво. Бесплезно.

А было вот что. В последний миг обычной Вселенной звёзды впереди собрались в точку — так собирается свет в зрачке, когда к нему подносят линзу, — и мир впереди сделался маленьким, круглым и очень плотным, как сжатый кулак. Потом кулак раскрылся. Звёзды разъехались, как зёрна из прорвавшегося мешка, и я увидел их сразу все — не в переднем полушарии, как положено глазу, а вокруг, во все стороны, на всём небе разом, и каждая была коротка, как удар струны. Потом всё это закрылось обычной чернотой, и обычная чернота повела меня вперёд, а руки мои лежали на подлокотниках, и сердце стучало не чаще, чем до этого, — и где-то в человеческой истории сорок шесть световых лет перестали быть недостижимыми.

«Поздравляю, — сказал Ося, и голос его впервые за время полёта звучал не как у диктора. — Первый изгиб — один и семь десятых светового года. До „Люси“ — сорок четыре и три десятых. Я наливаю вам чай».

Чай — это был симулятор, ведро суррогата из цикория и проростков, который нам варили в лаборатории питания и который все, кто пробовал на Земле, называли «торфом с зубной пастой». Из этого торфа на четвёртые сутки полёта состоялся первый межзвёздный тост: Ося произнёс речь из четырёх слов — «За всех, кто ждёт», — я чокнулся кружкой с обшивкой, потому что чокаться было не с кем, и мы пошли дальше.

Дальше был распорядок. Между изгибами — участки обычного, честного хода по четыре-шесть месяцев, на которых я работал: снимал, замерял, чистил, обслуживал. И — спал. «Колыбель» принимала меня на десять месяцев за раз: лёгкий наркоз, замедление всего, вплоть до клеточных часов, и сон, из которого выводили не будильником, а медленно, лаской, как вынимают ребёнка из воды. Девять долгих ночей-лет, три пробуждения, двадцать семь изгибов — так выглядел на бумаге путь от Земли до места, где поют.

В ночь перед первым уходом в «Колыбель» я долго не мог уснуть — не по-человечески не мог: капсула работала, сознание вязло, но что-то держало меня за горло, и я не понимал, что. Ося заметил — он всё замечал, по пульсу, по дыханию, по тому, как я ворочаюсь, — и спросил прямо:

«Марк, что вас держит?»

«Не знаю».

«Хотите, я подскажу? По моей базе это называется „страх не увидеть начало“. Человек, который всё детство прождал кого-то, не может спокойно проспать и первую ночь дороги к нему. Он боится, что пока он спит, тот придёт и уйдёт».

Я лежал в тёплой тьме капсулы и слушал, как у меня под рёбрами ходит это «не может спокойно проспать». Потом сказал:

«Ося. Держи мне здесь запись колыбельной. Не сигнал — просто, чтобы я слышал её сквозь сон. Она не остановится. Она поёт четыре года уже — поёт, не кончая».

«Включаю. Спокойной ночи, Марк. Десять месяцев пройдут быстро — я присмотрю за птицей».

И я уснул — впервые в жизни с полной уверенностью, что во Вселенной есть по меньшей мере два существа, которым я нужен: одно из них было сделано людьми и летело рядом со мной, а другое было неизвестно кто, но пело — сорок шесть лет подряд, не пропуская ни одной ночи.

Глава 9. Дальше тишина

Из «Колыбели» вынимают медленно. Сначала в кровь подаётся тёплое, как летняя вода, — и ты возвращаешься в тело не весь сразу, а по частям: сначала руки, потом дыхание, потом лицо, и только в самом конце, когда уже всё готово, — имя. Я лежал в белой капсуле и лежал, пока во мне собиралось это последнее, имя, и как всегда в такие минуты, первым слово сказал не я.

«Доброе утро, Марк, — сказал Ося. — Вы спали десять месяцев и девять дней. За бортом — пустота, в которой нет ничего нашего, до ближайшей звезды — двадцать один год ходу. Корабль в норме. Обстановка на Земле — нормальная. Письма прибыли».

Я открыл глаза. Капсула уже стояла вертикально, в иллюминаторе жилой сферы плыла обычная чёрная обычность, и всё это было похоже на то утро, с которого начался любой мой отпуск в любой моей жизни — если не знать, что отпуск этот длился десять месяцев, а «утро» наступило на расстоянии девяти световых лет от ближайшей кофейни.

«Письма?» — я сел. Руки дрожали слабо, это нормально после долгого сна, и я держал кружку двумя руками, как учили, и смотрел, как в ней колыхнется жидкость.

«Сорок два элемента. Личное — тридцать девять, служебное — три. Возраст самой старшей посылки — одиннадцать месяцев, самой свежей — три недели. Возраст их пути — вы помните формулу. Садитесь. Я включаю экран».

Почта летит по «Ожерелью» — цепочке ретрансляторов, которые консорциум растянул вдоль трассы в первые же годы, выстреливая их с Земли по прямой. Каждый узел принимает, копит, передаёт дальше; свет бежит по цепочке, как вода по лоткам, и письмо от Сони догоняет меня не сразу, а по этапам, как посыльный, идущий по деревне. К середине пути лаг писем растянется на пять лет, и мы с Соней будем жить в двух разных настоящих, соединённых трубой, по которой течёт прошлое. Тогда, в первый раз, до этого было ещё далеко: письма шли ко мне всего около года, и в них ещё не было той пропасти, которая появится потом.

Первое письмо я читал на второй палубе, сидя на полу, привалившись к тёплой стене теплицы, — так, как дома я никогда бы не сел, а здесь сел, потому что некому было сказать «сядь нормально». Соня писала:

«Здравствуй, дядь Марк. Пишу тебе первое письмо, потому что ты просил писать каждую неделю, и я не хочу быть той, кто отдаёт это слово первому. Мама говорит, ты сейчас уже лежишь или уже спишь, и я не понимаю, как это работает, и не спрашиваю, потому что мне этого достаточно: ты лежишь, значит, едешь. У меня всё нормально и не нормально. Нормально: я перешла в девятый класс, у меня по физике пять с плюсом и по алгебре четыре, что возмутительно, потому что алгебра нечестная наука. Не нормально: я не знаю, что тебе писать, потому что у тебя там всё одинаковое, а у меня тут всё разное. Так что я буду писать тебе погоду. Сегодня был снег с дождём, и собака соседей промокла насквозь, и стыдилась, что ходит мокрая. Это я тебе к тому, что когда тебе будет плохо — а мама говорит, тебе будет плохо, все взрослые так говорят, — помни: где-то есть собака, которая стыдится своей мокрой шкуры, и ей тоже никто не объяснил, зачем это всё. Держись. Соня».

Я прочитал письмо три раза. Потом встал, дожил кружку, вытер лицо рукавом — в одиночестве это делается без стеснения, я специально узнавал у психологов, — и пошёл на обход систем, потому что обход систем — это когда твои руки заняты, а голове есть что слушать, кроме самой себя.

Так начался быт. О быте «Чайки» в институте написали бы тома, если бы быт был интересен институтам, а он был интересен только мне и Оси — поэтому напишу его я.

День на «Чайке» длился двадцать шесть часов — искусственный, удобно разбитый на восемь часов работы, восемь спорта и отдыха, восемь сна и два часа «свободной воды», как я

называл время, которое не принадлежало ничему. Ося будил меня звуками дождя. Он долго подбирал звук: перебирал ливни, морось, грозы с далёкими раскатами, — пока я не сказал ему, что лучше всего действует дождь по железной крыше, из моего детства, с дачи, где я спал на сеновале. Ося нашёл в архивах запись и полгода синтезировал её копию, пока не совпало всё: и тяжесть капель, и неровность жестяного листа, и то, что вдалеке, за третьим дождём, шумит поезд.

«Теперь я знаю, как звучало твоё детство, — сказал он, когда я признал копию. — Я буду включать его тебе в трудные дни. Это будет наша тайна: управление считает, что корабль живёт по распорядку, а у нас с тобой есть погода».

Работы было много — не потому, что её много, а потому, что я был её единственный. Теплица требовала рук два часа в сутки; спорт — час и двадцать минут, и это было свято, потому что мышцы на дальнем ходу «съедает» не невесомость, а время; системы требовали пальцев по расписанию, как дойка. И среди всего этого — наука. Десятки измерений, спектры, пробы межзвёздной пыли, которую мы ловили специальными экранами, — всё это текло к Земле тонким лучом, и где-то там, внизу, его разбирали на страницы, диссертации и сводки, и моя одинокая работа превращалась в чужие совместные праздники.

А по вечерам, в «свободной воде», я слушал тишину. Так и запишите: человек, улетевший на край известного мира, проводил вечера, слушая тишину, — потому что тишину эту делала для него машина, и в ней, между двумя вспышками далёкого звука, ещё жило эхо двора, где мальчишки гоняли мокрый мяч.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Путь

Дорога — это не расстояние. Дорога — это то, что с тобой делают годы.
— «Курс молодого дальнбойщика», шуточный устав

Глава 10. Дом из фольги

Дом, в котором я прожил больше десяти лет, был размером с три троллейбуса и весил, если отнять топливо и изгибный блок, как два школьных автобуса. Стены его изнутри были белыми, тёплыми на ощупь и обшиты снизу мягким — на случай, если человек ударится, — а сверху, под потолком, по всей длине, шли поручни: держаться за них учили на Земле как первую заповедь дальнего хода.

«Фольгой» он был не снаружи, а изнутри, если считать фольгой все то, чем люди обшивают свою жизнь, когда она помещается в сорок два кубометра: фотографии, магнетики, запахи, расписание, споры с Осей. Я прикрутил на стену у теплицы пробковую доску, и на ней у меня жили три фотографии и жестяная чайка. Фотографии: Алёна на обсерватории, в поле, с термосом — она смеялась в кадр, не зная, что будет смеяться в него вечно; Лена с Соней, обе со смешными лбами; и снимок двора — тот самый, с бетонной площадкой, я нашёл его в интернете, в архиве районной газеты, скачал и печатал на борту: вон мальчишки, вон мяч, вон снег на кустах, который я до сих пор был уверен, что это костры, забыли поджечь.

Чайку я прикрутил к пробке на булавке. Ося отнёсся к этому ритуально: раз в сто дней он напоминал мне, что чайку надо снять и перевесить, «чтобы жестяная птица не уставала смотреть в одну точку», и я перевешивал, и это был не юмор и не суеверие — это была нить, на которой держалось всё остальное. Человек может прожить в железе десять лет, если у него в железе есть одна жестяная птица, которую надо перевешивать раз в сто дней.

Про еду расскажу коротко, потому что про еду у дальнбойщиков всегда коротко: она была. Контейнеры, рециклированная вода, «торф» вместо кофе, теплица, в которой росли салат, укроп и три куста томатов, — и томаты эти были нашим с Осей праздником: раз в полтора месяца мы собирали урожай, и Ося вычислял, какой день недели «получился бы на Земле», чтобы я «отпраздновал в правильный вечер». Раз он вычислил, что урожай приходится на мою годовщину свадьбы, и не сказал мне этого до последнего, а потом объявил за столом, и я не ел эти томаты, я сидел и держал один в руке, тёплый, тяжёлый, настоящий, и чувствовал, как в нём живёт всё лето, которого у меня больше не будет.

Спортом я занимался с Осей. У него не было тела, но у него был азарт: он придумывал мне нагрузки, следил за пульсом, вырабатывал программы и вёл счёт, как врагу. «Сегодня — ноги, Марк. Я хочу, чтобы вы к прибытию могли нести на себе «Ласточку» пополам со мной». — «Ося, я не смогу нести спускаемый модуль даже на Земле». — «Поэтому я и говорю: пополам».

А ещё мы играли в шахматы. Ося обыгрывал меня в шестьдесят процентах партий — он специально держал этот процент, я узнал об этом через четыре года, — и после каждой моей победы требовал объяснить, что я почувствовал, потому что «эмоцию победы над машиной надо изучать, пока она свежая». Я объяснял. Он записывал. Где-то в его памяти сейчас лежат двести страниц под заголовком «Что чувствует человек, когда выигрывает у железа», и я не исключаю, что это лучший труд по психологии, который переживёт нас всех.

Раз в два года я уходил в «Колыбель» и выныривал из неё, как из воды, — и за это время мир за бортом и мир внутри писем успевали сдвинуться. Про второй сон расскажу коротко, потому что он был как первый, только ещё глубже: Ося разбудил меня дождём по железной крыше, сообщил, что корабль в норме, обстановка нормальная, писем сто семьдесят три, — и добавил то, чего не было в первый раз.

«Марк. Письмо от Кима. Он просил зачитать лично».

Ким не писал мне с самого старта — мы договорились, что так честнее: ему было слишком больно, а мне слишком некогда. И вот теперь, через два с половиной года, его письмо лежало в моём ящике, и я держал его, как держат письмо с фронта.

«Здорово, голубь. Не смотри, что пишу голубь — это твоя фамилия у меня в телефоне с тех пор, как ты изображал чайку. Пишу первый и, наверное, последний раз, потом буду просто жить. Я женился. Ты не знаешь её, её зовут Ира, она терапевт и смеётся так, что стыдно быть унылым, поэтому я, наверное, и женился. Я её тебе покажу. Я теперь хожу в институт, где тебя готовили, и читаю курс „Работа в одиночестве“ для следующих кандидатов. Знаешь, что я им говорю? Я говорю: вы готовитесь лететь не в космос. Вы готовитесь лететь к себе. Тот, кто туда доходит, того человека, которого он взял с собой, знает насквозь — и это страшнее метеорита. Так вот, голубь: бери с собой того, кого тебе не стыдно узнать. Я вижу, что тебе стыдно не будет. Твой Ким».

Я прочёл письмо, поставил его в личный контейнер рядом с тетрадью Сони и долго сидел, глядя на пробковую доску. Потом подошёл к доске, снял жестяную чайку и перевесил её на новый гвоздик — не по расписанию, а просто так.

«Ося, — сказал я. — Запиши: сто девятый день пути. Было письмо. Я не один».

Глава 11. Четыре такта

У всякой долгой дороги есть своё время года, и время года на «Чайке» определялось не календарём, а маленькими датами, которые я сам себе назначал. День рождения — мой и чужой. Годовщина старта. Пятницы. И одна дата, которой не было ни в одном расписании: четыре такта.

Четыре такта — это про музыку. Мелодия Алёнки, та, которую она напевала в последний год, укладывалась в четыре такта: три восходящих и один нисходящий, как будто четыре шага по лестнице и один — обратно вниз, чтобы посмотреть, догоняешь ли тебя тот, кто идёт следом. Я не умел её записать нотами — я никогда не учился, — но Ося умел: на второй год пути я напел ему её раз десять, он снял частоты, выправил хрип и вписал в свою память как «мелодию 1». С тех пор «мелодия 1» жила на борту. Он включал её в четвёртую пятницу каждого месяца — не потому, что я просил, а потому, что он однажды заметил: в четвёртую пятницу мой пульс утром на четыре удара чаще обычного. Он назвал это «днём четырёх тактов» и не объяснял мне больше ничего. С Осей так всегда: он делает что-то тонкое и делает вид, что это регламент.

В день четырёх тактов у нас был собственный ритуал. Я откладывал всё, что мог отложить, ставил на стол настоящую, не из тубы, еду — то, что берёт: кусок хлеба из тепличной муки, чай из последних настоящих листьев, — и мы с Осей играли партию вслепую. Не в шахматы — вслепую ходили мы сами: я стоял посреди жилой сферы с закрытыми глазами, и Ося рассказывал мне ход, и я должен был пройти его ногами: два шага влево, поворот, шаг к столу, рука на чашку. Он назвал это «топографическим слухом» и уверял, что так тренируется вестибулярный аппарат на долгом ходу. На самом деле это была игра в доверие: ты закрываешь глаза на корабле, который летит в межзвёздной пустоте, и идёшь туда, куда говорит тебе голос. Ни один человек в истории не играл в это один. Я играл каждые четыре недели.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.